

## «ТИМЕЙ» ПЛАТОНА КАК ОБРАЗЧИК НАУКИ, ИЛИ ИСТИННО ЛИ ПРАВДОПОДОБИЕ?

Профессор В. Карпов в контексте комментариев к своему переводу платоновского «Парменида» предложил различить философию и философствование и принять за философствование всякое упражнение в развитии мышления, а за философию — готовый продукт мышления. Однако при этом он не предложил ни ориентиров, по которым можно было бы намечать границы и направления философствования, ни критериев, по которым можно было бы определять степень полноты и значимости исполненного продукта, т. е. философии. А возможны ли вообще подобные ориентиры и критерии?

Попробуем взглянуть на творчество Платона в свете этой проблемы. И для этого обратимся к платоновскому диалогу «Тимей». Такой выбор определен не только тем, что это сочинение долгое время (вплоть до средних веков) считалось едва ли не единственным и основным достижением платоновской философии, но еще и тем, что на фоне всех прочих произведений Платона оно более всего походит на законченный, готовый продукт. Во-первых, «Тимей» практически не диалогичен; во-вторых, он не повергает нас в пучину нерешенных вопросов, а предлагает некую логически законченную картину мира. Соответственно, воспользовавшись аналогией с общей для античности манерой построения учений, мы имеем все основания для того, чтобы отнести «Тимей» Платона, в отличие от первой, чисто логической (диалектической) части платоновского наследия, ко второй — собственно научной, и таким образом зафиксировать, что во времена Платона *результат* философствования считался уже не собственно философией, а наукой.

Однако Платон в «Тимее» постоянно «пытается сказать обо всем... такое слово, которое было бы... более правдоподобным, нежели любое иное» (48 de). Другими словами, Платон пытается предоставить нам не столько истинное знание, сколько его ближайшее подобие. Но иначе и невозможно, ибо слово само по себе, являясь некой материальной единицей, не может быть самой по себе истиной, а в лучшем случае выступает лишь ее отражением, подобием или... метафорой.

Аристотель определяет метафору как «несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или

по аналогии». А в «Анонимных пролегоменах к платоновской философии» по этому поводу говорится следующее: «Метафора отличается от сравнения большей степенью воспроизведения природы того, чье подобие она создает, и подражания ей. . . Кроме того, метафора может служить именем самого предмета, а сравнение — нет». Теперь, ограничившись этими определениями, обратимся к истокам греческой философии и попробуем интерпретировать ее как метафору.

Выполняя завет дельфийского оракула «Познай самого себя, и ты познаешь все», Фалес сказал: «Все есть вода». Иными словами, Фалес нашел для всего существующего несвойственное ему имя, которое в наибольшей степени воспроизводит его природу. А ведь «кто знает имена, тот знает и вещи» — говорит Платон устами Кратила. Однако слова, несущие в себе, кроме всего прочего, еще и психологическую нагрузку, отвлекают от чисто философской сути высказывания. Это доказывается едва ли не всеми последующими интерпретациями Фалеса, сводящими его тезис к простому утверждению, что все произошло из воды, и тем самым низводя *автора первой философской метафоры* с вершин философского абстрагирования до простого натуралиста.

А что если с позиции «метафоры» взглянуть и на пифагорейские «табу», которые, будучи приняты «всерьез», как пишет В. Буркерт, означают «пугающее сужение свободы действий в обычной жизни». Однако ни в одном культе, замечает Л. Я. Жмудь, «число заповедей не превышает 5–7», до нас же дошла почти сотня «пифагорейских табу». Между тем, Ямвлих говорит об этих табу не как о кодексе поведения, а как о философии. («Через весы не шагай» означало «не присваивай себе больше, чем нужно» и т. д. и т. п.) Сам Аристотель видел в этих «акусмах» характерные для семи мудрецов гномические выражения. А не стремился ли Пифагор путем все более и более тонких уподоблений (метафор) добиться не только развития ума всех стремящихся к этому (что запросто могло взбесить Гераклита), но и построения истинной умозрительной науки, по чистоте сопоставимой с математикой. И, неуклонно следуя этому пути, в конце концов пришел к метафоре, самой чистой из всех возможных, — к метафоре, не нагруженной более никаким психологическим содержанием, к числоуподоблению. В результате чего стал возможен следующий шаг античной философии: «Все есть одно» . . .

Однако логическим результатом такого пути философствования неизбежно должны были явиться скептицизм и агностицизм. Во-первых, пытливый человеческий ум становится все более и более неудовлетворенным простым правдоподобием, а во-вторых, следуя тезису «все есть одно», можно оправдать едва ли не любую позицию.

Кроме того, если мы рассмотрим саму по себе идею подобия (убе-

ждение Платона в непреходящем существовании образца для всего сущего), то можем увидеть, что хотя она и более «правдоподобна», чем идея равенства, неуклонное следование ей приводит в дальнейшем к «неожиданным» научным утверждениям. На чем, например, основано утверждение, что человек произошел от обезьяны? Именно на идее подобия. Будто человек как вид не мог произойти сам по себе, как это оказалось возможным по логике тех же рассуждений для обезьяны. Никто ведь не утверждает, что обезьяна, в свою очередь, произошла, например, от собаки и т. д. Не говоря уже о том, что все вообще могло быть наоборот — обезьяна могла произойти от человека. (Не легче ли в процессе эволюции потерять одну хромосому, нежели приобрести ее?)

Еще существует едва ли не всеобщее убеждение, что *есть* некий сам по себе род, этакая «человековость», в результате чего реальный индивид на протяжении всей разумной истории страдает далеко не только теоретически. Это дает исследователям право не только рассматривать всякую неординарную личность как *отклонение* от некоей нормы, но и вообще устанавливать непроходимые границы между различными проявлениями живой природы.

Таким образом, всякое словестное построение, на каком бы высочайшем уровне интуиции или учености оно ни осуществлялось, всегда следует относить скорее к области мнения (или воспринимать как метафору), а не к области философии как готового продукта. В этом смысле философии как готового продукта просто не существует (правдоподобие приведенного «построения» греческой философии как метафоры — лишнее тому доказательство).

И в этом смысле Платону удалось найти великолепный ход для фиксации философии как *процесса* — это и есть, по всей вероятности, единственно возможный вариант существования собственно философии как науки. Иными словами, философией является лишь непосредственно происходящее мышление, т. е. собственно философствование. И этим объясняются не только ее постоянная сиюминутная необходимость и ценность как для отдельного человека, так и для всего общества в целом, но и ее невероятная живучесть и извечная жизненность.